

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР

ВОСПОМИНАНИЯ АДРИАНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

Animula vagula blandula,
Hospes comesque corporis,
Quae nunc a bibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos...
*P. Aelius Hadrianus, Imp.**

* Душа, скиталица нежная,
Телу гостя и спутница,
Уходишь ты ныне в края
Блеклые, мрачные, голые,
Где радость дарить будет некому...
П. Элий Адриан, Им[ператор] (лат.).

ANIMULA VAGULA BLANDULA ДУША, СКИТАЛИЦА НЕЖНАЯ

Дорогой Марк*!

Нынче утром я сошел вниз к моему врачу Гермону, который только на днях возвратился на Виллу** после довольно долгой поездки в Азию. Обследование нужно было провести натошак, и мы условились, что он меня примет в утренние часы. Я сбросил плащ и тунику и прилег. Избавляю тебя от подробностей — они были бы тебе так же неприятны, как и мне самому, — и от описания тела стареющего человека,

* Имеется в виду Марк Аврелий Антонин, будущий император (161–180 гг.). 1 января 138 г. неожиданно умер Луций Цейоний Коммод (далее неоднократно упоминаемый в романе), которого Адриан предназначал своим преемником. Тогда он избрал своим наследником 50-летнего сенатора Тита Аврелия Антонина (император Антонин Пий, 138–161 гг.), обязав его усыновить двух юношей, Цейония Коммода (сына Л. Цейония) и 17-летнего Марка Аврелия, которые впоследствии действительно как соправители сменили Антонина Пия на посту императора. Обращение к Марку (Аврелию) и намеки в дальнейшем тексте на его правление позволяют установить время, к которому, по замыслу М. Юрсенар, относятся настоящие «воспоминания» — между 1 января и 10 июля 138 г. (день смерти Адриана).

** Словом «Вилла» здесь и в дальнейшем обозначается загородная резиденция Адриана в Тибуре (ныне Тиволи). Сооруженная за два строительных периода (118–125 и 125–133 гг.) и сочетавшая греческие скульптуры старинного стиля с ультрасовременными, чисто римскими архитектурно-строительными формами, она остается свидетельством утонченного вкуса Адриана, его постоянного стремления к греко-римскому синтезу и одним из высших достижений римской архитектуры. Император, однако, пользовался Виллой мало и поселился здесь лишь в самом конце жизни.

которому предстоит умереть от сердечной водянки. Скажу лишь, что я послушно кашлял, дышал и задерживал дыхание, повинаясь указаниям Гермогена; он был явно напуган столь стремительным развитием болезни и готов был свалить всю вину на молодого Иолла, который наблюдал меня в его отсутствие. Наедине с врачом трудно оставаться императором и не менее трудно ощущать себя человеком. В глазах Гермогена я был только скопищем жидкостей, жалкой смесью лимфы и крови. Нынче утром я впервые подумал о том, что мое тело, этот верный товарищ и преданный друг, которого я знаю лучше, чем свою душу, оказалось коварным чудовищем, которое в конце концов сожрет своего господина. Но полно. Я люблю свое тело, оно верно служило мне во всех случаях жизни, и мне ли скупиться на заботы о нем. Однако, в отличие от Гермогена, я больше не верю ни в чудодейственную силу трав, ни в целебные свойства минеральных солей, за рецептами которых ездил он на Восток. Этот человек, всегда такой тонкий, стал вдруг рассыпаться в утешениях, настолько затасканных и пошлых, что они не могли меня обмануть. Он знает, что я не терплю подобной лжи, но тридцатилетние занятия медициной безнаказанно не проходят. Я прощаю верному слуге эту попытку скрыть от меня мой конец. Гермоген — человек ученый и к тому же мудрый; он гораздо честнее любого придворного лекаря, и, доверившись ему, я, наверное, был бы самым ухоженным на свете больным. Но никому не дано выйти за пределы, предуказанные судьбой; распухшие ноги больше не держат меня во время долгих римских церемоний; я задыхаюсь, и мне уже шестьдесят лет*.

* На самом деле 62 года, т.к. Адриан родился 24 января 76 г. Намеренная стилизация М. Юрсенар под язык римских писателей, — следуя требованиям риторики, они обычно предпочитали округленные цифры.

Однако не делай из этого ошибочных выводов; я еще не настолько слаб, чтобы поддаваться химерам страха, почти столь же нелепым, как и химеры надежды, и, конечно, более мучительным, чем они. Если уж мне суждено обмануться, я бы предпочел быть излишне доверчивым: в этом случае я ничего не потеряю, зато страдать буду меньше. Мой срок уже близок, но это не означает, что он наступит немедленно, и я каждую ночь засыпаю в надежде дожить до утра. Внутри тех непреодолимых пределов, о которых я только что говорил, я могу упрямо защищать свои позиции и даже порой отвоевывать у противника несколько пядей отданной было земли. И все же я достиг возраста, когда жизнь становится для каждого человека поражением, с которым он должен мириться. Сказать, что мои дни сочтены, — это ничего не сказать: так было с самого начала жизни; таков наш общий удел. Но неопределенность места, времени и способа смерти, мешающая отчетливо видеть цель, к которой мы движемся неуклонно и без передышки, уменьшается по мере развития моей смертельной болезни. Внезапно умереть может каждый, но лишь больной знает твердо, что через десять лет его не будет среди живых. Полоса тумана распространяется для меня уже не на годы, а на месяцы. Мои шансы умереть от удара кинжалом в сердце или от падения с лошади теперь уже минимальны; вероятность заразиться чумой ничтожна; проказе или раку меня уже не настигнуть. Мне не грозит больше риск пасть на границах империи под ударом каледонского топора* или парфянской стрелы; бури так и не смогли меня погубить, и колдун, предсказавший мне, что я не утону, был, кажется, прав. Я умру или в Тибуре, или в Риме, или, самое дальнее, в Неаполе, и обо всем

* Каледоны — кельтское племя, обитавшее в пределах нынешней Шотландии.

позаботится приступ удушья. Какой приступ, десятый или сотый, окажется для меня последним? Вопрос только в этом. Подобно путешественнику, который, плывя на корабле меж островов архипелага, видит, как к вечеру рассеивается над морем пронизанный солнцем туман и впереди проступает линия берегов, я начинаю различать очертания своей смерти.

Некоторые периоды прожитой мною жизни подходят уже на опустелые покои излишне просторного дворца, в котором его обедневший владелец занимает теперь всего лишь несколько комнат. Я больше не охочусь; косули в этрусских горах могли бы теперь жить спокойно, будь я единственным, кто способен потревожить их мирные игры. С Дианой, владычицей лесов, я всегда поддерживал отношения переменчивые и пылкие — отношения влюбленного к любимому существу; когда я был подростком, охота на вепря впервые дала мне возможность испытать, что значит властвовать над людьми и что такое опасность; тому и другому я предавался с неистовством; и все эти крайности вызывали недовольство Траяна*. Кровавый дележ охотничьей добычи на поляне в Испании** был для меня первым опытом смерти, мужества, жалости к живым существам и трагического наслаждения зрелищем их страданий. Став мужчиной, я отдыхал на охоте от тех тайных сражений, что мне постоянно приходилось вести с противниками, то слишком лукавыми или слишком тупыми, то слишком слабыми или слишком сильными для меня. Суровая битва между разумом человека и прозорли-

* Траян — император в 98–117 гг., был двоюродным дядей Адриана и после ранней смерти отца будущего императора в 86 г. — его опекуном.

** Род Элиев, из которого вышел Адриан, как и род Ульпиев, к которому принадлежал Траян, происходил из Испании (город Италика в провинции Бетика).

востью диких животных казалась в сравнении с человеческими кознями удивительно честной. Когда я стал императором, мои охоты в Этрурии помогали мне судить об отваге или находчивости высоких сановников; таким образом я отверг или приблизил к себе не одного государственного деятеля. Позже, в Вифинии, в Каппадокии*, я использовал большие облавы на зверя в качестве предлога для праздника, для осенних торжеств в азиатских лесах. Но мой сотоварищ по последним охотам умер совсем молодым, и мое пристрастие к этим жестоким радостям угасло после его ухода. Однако даже здесь, в Тибуре, внезапного фырканья оленя в лесной чаще достаточно для того, чтобы во мне встрепенулся инстинкт, гораздо более древний, чем все остальные инстинкты; благодаря ему я ощущаю себя не только императором, но и гепардом. Как знать, быть может, я всегда бережно расходовал человеческую кровь только лишь потому, что пролил так много крови диких животных, хотя нередко в глубине души предпочитал их людям. Но как бы там ни было, образы хищников по-прежнему преследуют меня, и я с немалым трудом удерживаюсь от нескончаемых охотничьих историй, чтобы не подвергать вечерами тяжкому испытанию терпеливость моих гостей. Разумеется, в воспоминании о дне усыновления меня Траяном много радостного, но и вспомнить о львах, убитых в Мавритании, тоже приятно.

Отказ от коня — жертва еще более мучительная: хищный зверь — всего лишь противник, конь же был мне другом. Если б мне было дано самому избрать свой удел, я бы хотел быть Кентавром. Отношения между Борисфеном и мной были математически чет-

* В и ф и н и я — область на севере Малой Азии, с 74 г. до н.э. вошедшая в состав римских владений. Ка п п а д о к и я — область на востоке Малазийского полуострова, с начала н.э. провинция Римской империи.

ки; он подчинялся мне не как своему хозяину, а как подчиняются мозгу. Удалось ли мне хоть раз добиться того же от человека? Столь абсолютная власть всегда таит в себе для того, кто обладает ею, опасность ошибки, но наслаждение, какое я получал, пытаюсь свершить невозможное, когда брал на скаку препятствия, было слишком огромным, чтобы жалеть о вывихнутом плече или сломанных ребрах. Тысячу всяких, довольно зыбких, понятий, обычно прилагаемых к человеку, вроде звания, должности, имени, — все то, что так осложняет дружбу между людьми, — моему коню заменяло единственное знание, знание моего настоящего веса. Он был частью моих усилий; он очень точно — и, может быть, даже лучше, чем я, — знал, в какой точке моя воля расходится с моими возможностями. Но преемника Борисфена я больше не обременяю своей тяжестью грузом дряблых мышц большого человека, слишком немогущего для того, чтобы он мог сам взобраться на спину верхового коня. Сейчас, когда мой помощник Целер* объезжает его на Пренестинской дороге, мой так быстро канувший в прошлое опыт позволяет мне разделить с всадником и с животным ту радость, которую они оба получают от скачки, и по достоинству оценить ощущения человека, летящего во весь опор навстречу солнцу и ветру. Когда Целер соскакивает с коня, я вместе с ним чувствую под ногами землю. То же самое происходит и с плаваньем: я от него отказался, но все еще чувствую вместе с пловцом ласку воды. Пробежать даже самое короткое расстояние для меня теперь так же не-

* По-видимому, вымышленное лицо, представлявшее военнo-командный элемент в окружении императора; не поддается отождествлению с ним реально засвидетельствованный Каниний Целер — греческий ритор, секретарь по греческой переписке (и, скорее всего, отпущенник) Адриана, один из воспитателей Марка Аврелия.

мыслимо, как для статуи, как для каменного Цезаря, однако я еще помню, как мальчишкой носился по иссушенным холмам Испании, как бегал с самим собой вперегонки и валился с ног, задыхаясь, но твердо зная при этом, что мое молодое сердце и отличные легкие не замедлят вернуть равновесие организму; и всякий атлет, тренирующийся в беге на длинную дистанцию, находит в моей душе понимание, которого не достичь одним лишь рассудком. Так из каждого искусства, в котором я преуспел в свое время, я извлекаю какое-то знание, и оно частично возмещает мне утраченные радости. Я считал — и в добрые моменты поныне считаю, — что таким способом человек мог бы вобрать в себя существование всех людей, и это сочувствование явилось бы одним из самых надежных видов бессмертия. Мне выпадали мгновения, когда это понимание готово было перейти границы человеческого, когда оно шло от пловца к волне. Но тут я не могу уже опираться на точные данные и потому вторгаюсь в область таких метаморфоз, какие являются нам лишь в сновидениях.

Чревоугодие — истинно римский порок, но я был умерен в еде, и эта умеренность была мне всегда в радость. Гермогену не пришлось ничего менять в моем режиме питания. Единственным, в чем он, пожалуй, мог меня упрекнуть, было нетерпение, с каким я в любое время и в любом месте стремился поскорей проглотить первое попавшееся кушанье, словно разом хотел покончить с теми ощущениями, которыми досаждал мне желудок. Конечно, человеку богатому, никогда не терпевшему лишений, кроме тех, которые он принимал на себя добровольно или к каким на недолгое время бывал принуждаем силою обстоятельств, не пристало хвастаться своим малоедением. Наестся в праздничный день до отвала всегда было честолубивой мечтой, предметом радости и естественной

гордости бедняков. Мне нравились ароматы жареного мяса и шум выскребаемой посуды во время солдатских празднеств, нравилось, что пиршества в лагере (или то, что почиталось в лагере за пиршество) были именно тем, чем они должны были быть, — веселым и грубым противовесом тяготам и лишениям будничных дней; я довольно легко мирился с запахом топленого жира на общественных площадях в дни сатурналий. Но римские пиры вызывали у меня такое отвращение и такую тоску, что несколько раз во время военных экспедиций, когда мне, казалось, грозила неминуемая смерть, я утешал себя мыслью о том, что мне по крайней мере уже не надо будет больше присутствовать на обедах. Не обижай меня, трактуя слова мои как пошлый отказ от жизненных благ; процедура, которой мы предаемся два или три раза в день и целью которой является поддержание жизни, бесспорно, заслуживает наших забот. Съесть спелый плод — это значит дать войти в нас чему-то живому и прекрасному, пусть инородному, но, как и мы, вскормленному и возвращенному землей; это значит принять жертвоприношение, которым мы ставим себя выше неодушевленных предметов. Надкусывая ломоть солдатского хлеба, я всякий раз с восхищением думал о том, что эта тяжелая и грубая пища способна претвориться в кровь, в теплоту и даже, может быть, в мужество. О, почему мой дух, даже в лучшие мои дни, был наделен лишь малой долей той способности к усвоению, какой обладает тело?

В Риме на протяжении нескончаемых официальных обедов мне нередко приходила в голову мысль о том, что у нашей роскоши нет далеких истоков, о том, что этот народ скуповатых крестьян и нетребовательных к пище солдат, который всегда довольство-

вался ячменем и чесноком, позднее, во времена завоеваний, ворвался вдруг в кухни Азии и теперь с гордостью проголодавшихся мужланов жадно поглощает самые изысканные яства. Наши римляне обжираются ортоланами, накачиваются соусами, травят себя пряностями. Какой-нибудь Апиций* так и пыжится от гордости, кичась затейливой сменой блюд, бесконечной вереницей кушаний, острых, сладких, тяжелых или, напротив, воздушных, из которых складывается пышный распорядок его застолья; добро бы еще каждое из этих яств предлагалось отдельно, вкушалось натошак, отведывалось знатоком, чьи вкусовые ощущения еще не притупились. Подаваемые вперемешку, затерянные в нагромождениях каждодневного изобилия, они создают во рту и в желудке отвратительную мешанину, где ароматы и оттенки вкуса теряют свои природные свойства, свою восхитительную неповторимость. Добрейший Луций** когда-то тешил себя тем, что готовил для меня редкие кушанья; его фазаньи паштеты, с их изощренной дозировкой жира и специй, свидетельствовали о мастерстве столь же высоком, как мастерство музыканта или живописца; но мне было жаль, что в его стряпне исчезал натуральный вкус великолепной дичи. Греция умела управляться с этими делами куда лучше: ее смолистое вино, ее обсыпанный кунжутом хлеб, ее зажаренная на вертеле, прямо у моря, рыба, с одного бока по-

* Известны по крайней мере три человека по имени Апиций, славившиеся как моты и гурманы и жившие соответственно в начале I в. до н.э., на рубеже н.э. и при Траяне. (О последнем и идет речь в комментируемой фразе.) Некому Апицию приписывалась также знаменитая римская поваренная книга, составленная в III в.н.э. Имя, таким образом, было, скорее всего, нарицательным.

** Деталь, совершенно нетипичная для римского аристократа, призванная подчеркнуть причудливый характер «античного денди» .

черневшая от огня и приправленная хрустящими на зубах песчинками, отлично утоляли голод, не отягощая ненужными сложностями самое простое из наших удовольствий. В какой-нибудь таверне Эгины или Фалера я наслаждался пищей настолько свежей, что она оставалась божественно чистой, несмотря на грязные руки слуги, настолько скромной и при этом сытной, словно она заключала в себе самую сущность бессмертия. Мясо, изжаренное вечером после охоты, тоже таило в себе нечто почти сакраментальное, возвращавшее нас к первобытным временам, к исконным корням народов и племен.

Вино приобщает людей к вулканическим тайнам земли, к скрытым в ней минеральным богатствам: чаша самосского вина, выпитая в яркий солнечный полдень или, наоборот, зимним вечером, когда ты устал, и мгновенно наполняющая тебя ощущением приятного тепла в желудке и бодрящего жара во всем теле, одаряет нас чувством почти священным, порой даже слишком сильным для человеческой головы; выходя из пронумерованных римских подвалов, я уже не испытываю этого ощущения во всей его чистоте, и педантизм знатоков изысканных вин меня раздражает. С еще большим благоговением пью я воду; когда мы зачерпываем ее ладонью или припадаем к источнику ртом, в нас входят таинственные соли земли и излившийся с неба дождь. Но и вода теперь, при моей болезни, стала для меня запретной радостью, мне и здесь предписано строгое воздержание. И все-таки даже в агонии, сквозь горечь последних микстур, я буду пытаться почувствовать на губах ее пресную свежесть.

В свое время я пробовал было воздерживаться от мяса — в духе тех философских школ, которые проповедуют, что нужно испытать на себе все существующие режимы питания; позже, в Азии, я видел, как индий-

ские гимнософисты* отворачивались от дымящихся ягнят и газельих туш, которые предлагались гостям в шатрах Хосрова**. Но этот обычай, столь привлекательный для твоей юношеской суровости, требует хлопот еще более обременительных, нежели чревоугодие и гурманство; он слишком резко отделяет нас от большинства людей в одном из главных телесных отправлениях, которое почти всегда происходит публично и чаще всего подчинено велениям государственности или дружбы. Я предпочел бы всю жизнь питаться одними цесарками и жирной гусятиной, только бы не давать моим гостям повода обвинять меня за каждой трапезой в том, что я чванюсь перед ними своим аскетизмом. Мне и без того бывало нелегко с помощью горстки сушеных фруктов и единственной чаши вина, которое я медленно цедил целый вечер, скрывать от моих сотрапезников, что фигурные торты приготовлены моим поваром не столько для меня, сколько для них, и что я давно равнодушен ко всем этим яствам. Государь здесь лишен той свободы действий, какая есть у философа: он не может себе позволить отличаться от окружающих по многим вопросам одновременно, а боги знают, что вопросы, по которым я расхожусь с людьми, и так уж чересчур многочисленны, хоть я и льщу себя надеждой, что многие из них остались незамеченными. Что же касается религиозных сомнений гимнософиста и его отвращения к окровавленному мясу, меня это, может быть, и растрогало бы, если бы мне не приходилось задаваться вопросом: чем страдания травы, которую косят, так уж разнятся от

* Гимнософистами греки называли древнеиндийских философов, проповедовавших аскетизм.

** В описываемую эпоху Парфянское царство состояло из нескольких областей, во главе которых стоял свой правитель; Хосров был одним из них. Центрами его державы были Ктесифон и Селевкия Вавилонская.